ЖИВОЙ ГОРЬКИЙ

Я увидел Горького в 1929 году. Но в мою жизнь он вошел еще с детства. Я вспоминаю сейчас забавный случай, по-детски наивный, но в чем-то очень для меня значительный и трогательный. После Февральской революции я учился в школе и не мог не чувствовать, как и мои маленькие сверстники, что школа идет к упадку. Закон божий еще не отменили, но слушать его мы уже не хотели, хотя и очень любили уроки закона божьего. И если поп не приходил на занятия, а это случалось очень часто, мы шли к нему домой и звали на занятия. Он приходил в класс, салился и молча, прищурившись, глядел на нас. Мы начинали дружно покашливать, прочищая горло. Поп все с той же лукавой и дружественной улыбкой ждал некоторое время, а потом спрашивал: «Споем?». Мы дружно отвечали; «Споем!»— и затягивали: «Из-за острова на стрежень...» Поп был умный и хитрый.

Никто из учителей такой роскоши на занятиях нам не позволял, а поэтому уроки закона божьего мы очень ценили. Они стали для нас приятной формой лирического самовыражения. Но сколько же можно было петь?

Не без забавной горечи проходили у нас и уроки латинского языка. Латынь преподавал директор училища. В классах было холодно. Он приходил в длиннополом форменном пальто. На голове у него громоздилась не шапка, а горжетка жены, сколотая булавками и походившая поэтому на старинную боярскую шапку. Она закрывала лоб и мы видели только одни грустные глаза директора. Мы очень жалели и искренне переживали все его невзгоды. Он был старый интеллигент — честный и беспомощный.

Латынь мы с ним уже не изучали, а на каждом новом уроке по латыни выслушивали его жалобы. Жалоб было много, потому что жизнь с каждым днем становилась все труднее и труднее, и их вполне хватало на каждый урок. Помню, однажды он пришел в класс, сел за стол, засунул руки в рукава и опустил голову. Мы знали, что после паузы начнется длинный и грустный рассказ об очередной директорской неудаче. В классе становилось совсем тихо. Жалостливая гримаса делала бледное, осунувшееся лицо директора похожим на лицо обиженного ребенка. Он начинал свой рассказ: «Сегодня утром ходил на базар. Жена велела купить десяток яиц. Я купил и принес домой. Жена посчитала яйца и говорит: «Учился ты учился, два факультета окончил, а я,— добавлял он тут же,— действительно два факультета окончил,— а до десяти так считать и не научился». Справедливо она меня ругала, хотя я и не виноват. Нечестная женщина вместо десяти дала мне девять яиц».

Мы видели его искреннее огорчение, не смеялись над ним, и, наоборот, нам тоже становилось очень грустно.

Все переворачивалось в мире наших детских представлений, все сошло со своих мест, и нам страшно хотелось услышать обо всем происходящем чье-то необыкновенное и сильное слово. Тогда и родилась у нас, школьников, мысль обратиться с письмом к Горькому. Я знал к этому времени «Буревестника» наизусть, действие его было магическим, а сам Горький представлялся детскому воображению гигантом, непохожим лаже по внешним своим данным ни на одного человека в мире. Но письмо не получалось с самого начала. Начать письмо с обращения: «Алексей Максимович!» нам не хотелось, потому что по имени и отчеству мы называли всех своих учителей, а тут Горький. Нет, обычное обращение явно не подходило. Тогда я предложил свое обращение к Горькому: «Великий маниак!» Нас было пятеро юных искателей истины. Все молча переглянулись и с недоумением посмотрели на меня. Я стал объяснять

как мог. Слово «маниак» я где-то вычитал, смысла его не понял, но в моем сознании оно ассоциировалось со словом «маяк», с той только разницей, что никакой маяк по силе и яркости света не мог идти в сравнение с маниаком. У последнего света хватило бы на весь мир. Я очень радовался, что нашел слово, которым можно выразить сразу и силу таланта Горького и силу моей любви к нему. Остальные ребята тоже не понимали слова, найденного мною для обращения к Горькому, мои объяснения встретили скептически. Одним словом, мы зашли в тупик и решили совещание по составлению письма Горькому перенести на следующий день. На следующий день меня постигло горькое поражение. Среди нас был сын учителя. Он узнал у отца, что такое «маниак», и я был сражен им со смертельной беспощадностью. В силу этого, отстранен от дальнейшего участия в составлении письма, что вызвало у меня длительные искренние муки.

Письмо, как мне помнится, так и не было послано Горькому, но оно еще больше укрепило мою веру в чудодейственную силу его мудрого слова.

Прошло десять с лишним лет. И судьба свела меня с Горьким. В 1929 году был созван съезд крестьянских писателей. Это было время, когда у нас существовало множество всяческих литературных организаций, пока они не были разумно и целесообразно ликвидированы Центральным Комитетом партии и заменены Союзом советских писателей. Я был отнесен к числу крестьянских писателей и по этой причине приглашен на съезд.

На съезд я ехал с удовольствием. Более великолепного настроения невозможно было придумать. За плечами у меня была молодость и первая изданная книжка. Съезд происходил в июне 1929 года, в Москве. По дороге я заехал в Ростов, где была издана моя книжка, получил 20 ее экземпляров, гонорар и 2-го июня был в Москве.

Съезд открылся 3-го июня в Центральном Доме крестьянина. Повестка дня съезда была довольно обширная, за эти долгие годы я уже успел забыть, кто и о чем говорил. Запомнились только выступление Луначарского и еще более выступление Горького, потому что это забыть невозможно.

Зал долго и шумно аплодировал. Горький стоял на трибуне, подняв над головой большие, жесткие руки, будто закрываясь от режущих его глаза солнечных лучей. Его явно смущала эта шумная встреча. Лицо его выражало совершенно детское, наивное смущение. Ни тени тщеславия, ни малейших признаков самодовольства, самолюбования. Аплодисменты не столько волновали, сколько тяготили его. Позже в своей речи он сказал об этом прямо, сказал о том, что его действительно и по-настоящему взволновало: «Творится огромное дело, великое дело. Повторяю, не было, я глубоко уверен в этом, не было в истории человечества такого взрыва энергии, такого роста всюду и везде во всех областях. Это надо учесть, это надо помнить, этим надо жить, этим надо питаться. Я вот уже старый человек, приезжаю сюда второй раз (на сей раз я был встречен, слава тебе господи, без шума), но тем не менее я взволнован не меньше, чем в прошлом году. Взволнован тем, что видел вчера на всесоюзном съезде женщин, взволнован теми ребятишками, которые ко мне приходят, теми письмами, которые получил за эту зиму».

Я, как и другие, неистово хлопал в ладоши. Все иное перестало существовать. Остался один Горький. Может же быть такое состояние, когда весь оказываешься во власти созерцания. Оно вытеснило все остальные ощущения, превратившись в источник бесконечно сильной и бескорыстно чистой радости.

Особенно меня радовало то, что образ Горького, сложившийся еще в детском воображении, почти не расходился с образом живого Горького. Все в нем было больше обычного: и рост, и голова, и руки, даже грудь, хотя я знал, что в этой груди живет только одно

легкое.

Лицо Горького, кто же не знает этого лица, привлекало своей простотой и еще какой-то удивительной неповторимостью. И в то же время, если бы понадобилось написать обобщенный образ труженика, для этого надо было бы обратиться прежде всего к лицу Горького. На этот раз лицо его было усталым, и, может, поэтому на нем лежала тень суровости. Но глаза его излучали тепло. Мне думалось: я не ошибся, я знал это еще в детстве: Горький — это свет, согревающий человеческие сердца. И как же много этого света.

Я следил не только за каждым сказанным им словом, но и за каждым его жестом. Говорил он медленно, густым, низким, совершенно неповторимым горьковским голосом,

с явно выраженным «оканьем». Его речь сопровождалась часто повторяющимся жестом. Он поднимал сразу обе руки над головой, словно широкие крылья, н я чувствовал, как много несут в себе красоты эти сильные, не похожие ни на какие другие руки. Руки, которые пекли хлеб, копали землю, сажали деревья, грузили баржи, бережно и свято помогали рождению человека, держали маленькую ученическую ручку и создали произведения силы огромной и доброй, руки рабочего человека, великого Мастера. Руки неутомимые н сильные, как само человечество.

Речь Горького была короткой. И тут, как видно, он не хотел быть исключением н не выходить за рамки регламента. Но речь его была глубокой н содержательной. О чем он говорил? Он говорил о том, что и сейчас чрезвычайно актуально для советской литературы. Коротко говоря, речь шла о форме и содержании литературы, об идейности и мастерстве.

На съезде многие литераторы выражали недоумение. Почему, когда литератор начинает разговаривать «по-философски, диалектически н материалистически», получается плохо. Из самой постановки вопроса видно, что поднимался вопрос об идейности нашей советской литературы. Надо вспомнить, что тогда литература наша не достигла еще тех высот, на которые она поднялась сейчас. Стремление создать обобщенный образ современника кончалось неудачей. И главным образом потому, что идеология присоединялась к образу, как некий довесок. Она не сочеталась органически с человеком, с его поступками н поведением, его психологией, его моральными нормами поведения. Она преподносилась как голая тенденция. И беда заключалась не в самой тенденции, ибо, как известно, бестенденционного искусства нет. Беда заключалась в том, что эта тенденция теряла свою силу, потому что она не облекалась плотью н кровью художественного мастерства. В конечном счете, проблема идейности искусства являлась в неменьшей степени и проблемой мастерства.

Горький слушал и на недоуменный вопрос участников съезда нашел нужный ответ. Когда начинает писатель говорить по-философски — получается плохо. «А мне кажется,— говорил Горький,— что это должно было бы выйти хорошо. Почему? А потому, что, в сущности, марксизм и ленинское учение были написаны еще на шкуре наших предков.

Я хочу сказать, что это надо знать, но этому надо придать ту форму, которую требует действительность: нужно, чтоб слова изнутри человека, а не извне наклеивались на него». «Только тогда, — говорил Горький, — органичность произведения явится сама собой».

На съезде присутствовала по преимуществу молодежь, жадная до слова, но не прошедшая не только литературной школы, но часто и школы вообще. Каждое слово Горького воспринималось как откровение, как творческое задание и не на один год, а, может, на всю жизнь. И сегодня, спустя несколько десятилетий, обращаясь к тем давнишним словам Горького, я отлично понимаю, что слова великого писателя не

только не устарели, а что, наоборот, без них пишущему человеку жить нельзя. Вот, например, одна из сторон выступления Алексея Максимовича. Он требовал скульптурности в изображении человека, у читателя герой произведения должен вызывать отчетливое зрительное представление. «Часто писатель не видит человека,— какой он: рыжий или брюнет, как он движется, какие у него руки, как он ходит, сидит и все прочее, н того, как тесно окружают его слова и детали».

А разве произведения некоторых писателей, а начинающих почти сплошь, не грешат этим недостатком?

И еще в своем коротком выступлении Горький говорил о языке писателя. Это, как известно, одна из тех тем, на которой Горький останавливался неоднократно. Он призывал писателей совершенствовать свой язык, а для этого неустанно работать над словом. Написанного текста речи, насколько мне помнится, у него не было. Говорил он медленно, с паузами, стараясь и тоном и жестом подчеркнуть глубокое значение того, что говорилось. «Над словом у нас работают мало, язык плохой, писателя от писателя трудно отличить, нет характерного языка, нет того, чем, например, Лескова легко отличить от Глеба Успенского, или Гаршнна от Бунина. Этого нет. А это должно быть».

Он особенно подчеркивал ту мысль, что литератору учиться языку надо у народа. Народный язык — это великолепная сокровищница, там огромное количество слов, в которых писатель «найдет яркое, сильное, четкое оформление для своего материала».

Я заметил тогда, что Горький не произнес ни одного непонятного слова. Его речь доносилась до слушателей не только голосом, но и руками, глазами. И даже поглаживание насквозь прокуренных усов подчеркивало значение произносимых слов.

Значительную часть своей речи Горький посвятил вопросу об отношении писателя к действительности. Стихия художника слова — жизнь, действительность, современность. Вторжение в жизнь неотъемлемое свойство творческой натуры. Творчество только тогда имеет смысл, когда оно служит изменению действительности. Он говорил о той жизни, которую создавало молодое Советское государство, и призывал писателей активно участвовать в создании этой новой жизни. «Действительность есть нечто такое, что создаем мы, чтобы нам было удобнее. И мы должны ее создавать. Все, что нам мешает жить — к черту. Это же есть естественное дело всякого человека, всякого разума, всякой воли».

Я думаю, что если моя жизнь осмыслялась впоследствии каким-то содержанием, то немаловажную роль в этом отношении сыграла встреча с Горьким.

После его речи на съезде был объявлен перерыв. Участники съезда табунком повалили за Горьким. Во дворе Дома колхозника сфотографировались. Карточка у меня в силу не зависящих от меня обстоятельств, не сохранилась. Да я и не жалею. А то, чего доброго, стал бы показывать в совсем неподходящий момент гостям. Потеря карточки спасла меня от этого. Важно другое.

После этой встречи я стал думать, мыслить, жить теми хорошими словами, которые были сказаны голосом живого Горького.